

**Д. Дидро**

# **Монахиня**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Д11

Д11                    **Д. Ди́дро**  
Монахиня / Д. Ди́дро – М.: Книга по Требованию, 2022. – 114 с.

**ISBN 978-5-4241-1840-1**

Выдающийся писатель и мыслитель эпохи Просвещения Дени Ди́дро известен, прежде всего, как издатель знаменитой "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел". Его первый роман "Нескромные сокровища" был создан в течение двух недель: писатель заключил пари с собственной любовницей, что эротические романы сочинять нетрудно. Так появилось увлекательное и забавное повествование, составившее примечательную страницу в истории французского галантного романа. Однако и в последующих произведениях Ди́дро - философских романах-диалогах "Жак-фаталист" и "Племянник Рамо" и, конечно, его романе-исповеди "Монахиня" - сильна эротическая составляющая. Тема эроса окрашивает реалистический с явно антиклерикальным разоблачительным оттенком текст "Монахини".

**ISBN 978-5-4241-1840-1**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2022  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2022  
© Д. Ди́дро, 2022

Дени Дидро  
Монахиня



От ответа маркиза де Круамар-если только он мне ответит-зависит все, что последует в дальнейшем. Прежде чем ему написать, я решила узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще; он немолод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. При мне с похвалой отзывались о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячemu участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделала ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую, неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, присущим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если мой покровитель потребует-да, может быть, мне и самой придет в голову такая фантазия, — чтобы эти записки были закончены тогда, когда отдаленные события уже изгладятся из моей памяти, — этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояния было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы равномерно распределяться между нами, а я при всем желании не могу воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей, и, чтобы меня так же любили, нежили, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если, случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дочери!», она никогда не относила этих слов на мой счет. Иногда я бывала сторицей вознаграждена за эту несправедливость; но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала оттого, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной — словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей! Я спрашивала себя-откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальном людей честных, справедливых и благочестивых? Признаться ли вам, сударь? Некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева, — а он был горяч, — некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги-все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения; быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры, — кто знает? Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованны, то чем я рисую, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ.

Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый молодой человек; вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие, и вот как меня отблагодарили за него: дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие ничуть меня не огорчило, и я отправилась в монастырь св. Марии— мой первый монастырь—с большой охотой. Между тем, не видя меня более, возлюбленный моей сестры забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К., он нотариус в Корбейле; они очень не ладят между собой. Вторая сестра вышла замуж за некоего г-на Бощона, торговца шелками в Париже, на улице Кенкампюа, и живет с ним довольно хорошо.

Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что теперь вспомнят и обо мне и что я не замедлю выйти из монастыря. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет. Сестрам дали порядочное приданое, я рассчитывала на такую же участь, и голова моя была полна самых соблазнительных планов, как вдруг меня вызвали в приемную монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери; он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода; она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услыхав это страшное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к духовному званию. «Тем хуже, — сказал отец Серафим, — ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут уделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель:

вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату и откуда вы сможете выйти только после смерти ваших родителей, а эта смерть может наступить еще не скоро...» Я стала горько жаловаться и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена; она ждала меня за дверью приемной. Я была в неописуемом смятении. Она спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя? (Она лучше меня знала, что со мной.) В каком вы виде! Я никогда еще не видела подобного отчаяния. На вас страшно смотреть! Уж не потеряли ли вы вашего батюшку или вашу матушку?» Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах, если бы это было так!», но сдержалась и только воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни матери, я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока прошел первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня; соболезнуя, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было ни малейшей склонности, обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О сударь, вы даже представить себе не можете, как коварны эти настоятельницы монастырей! Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные: ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен мне для

решения, наступил, и она явилась сообщить мне об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом уронила несколько слов сострадания, по которым я поняла все остальное. Произошла еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их: умение обуздывать свои чувства великолепное искусство монахинь. Затем она сказала-и, право, мне кажется, она действительно плакала при этом: «Итак, вы покинете нас, дитя мое! Дорогое дитя, больше мы не увидимся с вами!..» Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча, потом вскочила и прижалась к стене, потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. «Вот что, — сказала она, — почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет дала вам я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу, чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей? Так что же? Почему бы вам и не стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему — только пробыть у нас еще два года. Неизвестно, кому суждено умереть, кому — жить. Два года — немалый срок: мало ли что может случиться за это время?» К этим коварным словам она присоединила столько ласк, столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. Я знала, где я была, но не знала, куда это меня приведет.

Итак, она написала моему отцу; ее письмо было составлено превосходно-о, как нельзя лучше! Мое горе, мою скорбь, мои жалобы-ничего она не утаила, и, уверяю вас, тут и более проницательная девушка была бы введена в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии. И с какою быстротой все было готово! Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии-теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим без всяких промежутков.

Забыла вам сказать, что я виделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорbonны, подготовлял меня, а епископ Аленский совершил надо мной обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахини старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я двадцать раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паства, к которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрицы, как она хороша! Как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи, как идет к ней эта повязка, как округляет щеки, как оттеняет лицо! Как красивы в этой одежде ее стан и руки!..» Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспоминала их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. К этому дню приурочены особые торжества; ради меня их сделали еще более пышными, но я обратила на них мало внимания. Однако окружающие сделали вид, будто не замечают моего равнодушия, да еще попытались и меня самое убедить в том, что я в восторге. Вечером после молитвы ко мне в келью явилась настоятельница. «Право, не

знаю, – сказала она, посмотрев на меня, – почему вы питаете такое отвращение к этой одежде. Она к вам очень идет, и вы в ней прелестны. Сестра Сюзанна-премиленькая послушница, и за это ее будут любить еще больше. А ну, пройдитесь немного. Вы держитесь недостаточно прямо, не нужно так горбиться...» Она показала, как надо держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок Марселя-урок монастырского изящества, ибо у каждого сословия есть свои нормы изящного. Затем она села и сказала: «Ну, а теперь поговорим серьезно. Вы выиграли два года. Ваши родители могут еще переменить решение, но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь, когда они захотят взять вас отсюда, – это не так уж невозможно». – «Сударыня, об этом нечего и думать». – «Вы долго были среди нас, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. В ней, конечно, есть свои горести, но она не лишена и отрады...»

Вы, сударь, отлично представляете себе, что еще она могла наговорить мне о мире и монастыре. Об этом написано много, и везде одно и то же, – благодарение Богу, мне давали читать целый ворох дребедени, где монахи восхваляют свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, понося мир, который они любят, но не знают.

Не стану подробно описывать вам мое послушничество. Никто не смог бы выдержать его, если бы строго соблюдались все правила; в действительности же это наиболее приятный период монастырской жизни. Наставница послушниц – это всегда самая снискходительная из всех сестер. Ее задача – скрыть от вас все терни монашества: это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, ослепляет. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездыны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне чихнуть два раза кряду и меня освобождали от церковной службы, работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее, устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя Богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искавались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарения Богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий.

Между тем час, приход которого я иногда торопила в своих мечтах, приближался. Теперь я начала задумываться; я почувствовала, что мое отвращение к монашеству проснулось вновь, что оно растет, и решила признаться в нем наставнице или наставнице послушниц. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, какие мы им доставляем, ибо не надо думать, что им приятна разыгрываемая ими роль лицемерок и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов это так им надоедает, становится таким скучным! И все же они идут на это, идут ради какой-нибудь тысячи эку, которая достается им монастырю. Вот та основная цель, ради которой они лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния на сорок, на пятьдесят лет, – а быть может, и вечную гибель. Ибо нет сомнения, сударь, что из ста монахинь, которые умирают, не достигнув пятидесяти лет, ровно сто губят свою душу, а другие, оставшиеся в живых, тупеют, теряют рассудок или впадают в буйное помеша-

тельство, ожидая смерти.

Как-то раз одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком. Я увидела ее. Вот начало моего счастья или же несчастья – в зависимости от того, как вы, сударь, поступите со мной. Никогда я не видела ничего ужаснее! Она была растрепана и почти раздета; она волочила за собой железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била себя кулаком в грудь, бегала, выла; она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями; она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас, я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела свою судьбу, и у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть, тысячу раз умереть, нежели подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказывать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречивших одна другой: она будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды – она переживала тогда критический возраст–ее сильно напугали, и ей стали являться привидения; она вообразила, что имеет общение с ангелами; она начиталась зловредных книг, которые и помутили ей рассудок; она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно напугали ее судом Божиим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство, и теперь ей чудятся дьяволы, ад и геенна огненная; все они, монахини, просто несчастные из-за нее: ведь это неслыханный случай–иметь в своем монастыре подобную личность; и не помню уж, что еще... Все это не оказалось на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила мне на память, и я вновь и вновь клялась себе не произносить никакого обета.

Но вот настал день, когда я должна была доказать, что умею держать данное себе слово. Как-то утром, после ранней обедни, настоятельница вошла ко мне в келью. Она держала письмо. Лицо ее выражало печаль и уныние, руки были бессильно опущены, словно тяжесть этого письма была чрезмерна для них. Она смотрела на меня; казалось, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она молчала, я тоже. Она ждала, чтобы я заговорила первая. Я едва не сделала этого, но удержалась. Наконец она спросила, как я себя чувствую, не слишком ли затянулась сегодня служба, не кашляю ли я: вид мой показался ей не совсем здоровым. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она продолжала держать письмо в опущенной руке. Задавая мне эти вопросы, она положила его на колени и слегка прикрыла ладонью. Наконец, направив разговор на моих родителей и видя, что я так и не спрашиваю, что за листок у нее в руке, она сказала: «Вам письмо...»

При этих словах сердце мое забилось, губы задрожали, и я спросила прерывающимся голосом: «От матушки?»

– Вы угадали. Вот, прочтите... Немного оправившись, я взяла письмо. Сначала я читала его довольно твердым голосом, но с каждой строчкой страх, негодование, гнев, досада, различные страсти сменялись в моей душе, и у меня менялся голос, менялось выражение лица, я делала нервные движения: то я едва держала этот листок кончиками пальцев, то хватала так, словно хотела разорвать, то с силой сжимала в руке, словно собираясь скомкать и отшвырнуть подальше от себя.

– Ну что же, дитя мое, что мы ответим на это?

– Сударыня, вы знаете сами.

— Да нет, не знаю. Обстоятельства неблагоприятны: ваше семейство понесло убытки. Дела ваших сестер расстроены, и у той и у другой есть дети. Ваши родители исчерпали свои средства, выдав дочерей замуж, а теперь разоряются, чтобы поддержать их. Они не смогут прилично обеспечить вас: вы стали послушницей, что было связано с большими расходами. Этим шагом вы дали им пищу для определенных надежд. В миру распространился слух о вашем будущем пострижении. Впрочем, вы можете по-прежнему рассчитывать на мою помощь. Я никогда еще никого не вовлекала в монашество насильно: это звание, к которому нас призывает Бог, и очень опасно примешивать свой голос к его зову. Я не стану пытаться взывать к вашему сердцу, если ему ничего не говорит благодать Господня. До сих пор мне никогда не приходилось упрекать себя в чужом несчастье; ужели я захочу начать с вас, дитя мое, когда вы так дороги мне? Я не забыла, что первый шаг вы предприняли именно после моих уговоров, и не допущу, чтобы этим злоупотребили, принудив вас к чему-либо помимо вашей воли. Итак, давайте подумаем, обсудим это вместе. Хотите вы стать монахиней?

- Нет, сударыня.
- Вы не чувствуете никакой склонности к духовному званию?
- Нет, сударыня.
- Кем же вы хотите быть?
- Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть ею и не буду.
- Хорошо, вы не будете монахиней. Давайте обсудим ответ вашей матушки...

Мы обменялись кое-какими мыслями. Она написала и показала мне письмо, которым я осталась очень довольна. Между тем ко мне поспешили направить монастырского духовника; ко мне прислали ученого богослова, того самого, который напутствовал меня перед тем, как я сделалась послушницей; меня поручили особому попечению наставницы; я увиделась с его преосвященством епископом Аленским; мне пришлось вести длинные споры с разными богомольными женщинами, которые вмешались в мое дело, хотя я совсем их не знала; у меня шли бесконечные беседы с монахами и священниками; приезжал отец, сестры присыпали мне письма, последней явилась мать-я выдержала все. Тем не менее день моего пострига был назначен. Чтобы получить мое согласие, было сделано решительно все; когда же убедились, что добиться его невозможно, решили обойтись и без него.

С этого момента я была заперта в келье; мне предписали молчание, разлучили меня со всем миром, предоставили самой себе, и я поняла, что решено было распорядиться мною помимо моей воли. Я отнюдь не собиралась сдаваться! Вопрос был для меня решен, и все ужасы, настоящие или мнимые, которые мне преподносили, не могли меня поколебать. Однако мое положение было достойно жалости. Я не знала, сколько времени могло продлиться мое заточение, и еще меньше знала, что будет со мной, когда оно окончится. В этом состоянии неизвестности я приняла одно решение, о котором вы можете судить, как вам будет угодно, сударь. Я никого больше не видела ни настоятельницы, ни наставницы, ни послушниц, ни товарок. Я попросила передать первой, будто бы согласна выполнить волю родителей; в действительности же я намеревалась положить конец этим преследованиям, предав дело огласке, и публично заявить протест против готовившегося надо мной насилия. Итак, я сказала что они хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему усмотрению, что я стану монахиней,

раз таково их требование. Весь монастырь возликовал; снова вернулись ласковые речи, а с ними лесть и соблазнительные обещания: мое сердце вняло гласу Божию. Я создана для состояния совершенства более, чем кто-либо. Это было неизбежно, этого ждали все; нельзя исполнить свои обязанности так примерно и с таким усердием, если они не являются истинным вашим призванием. Наставница послушниц никогда еще не видела ни у одной из своих учениц столь ярко выраженной склонности к монашеству, она была чрезвычайно удивлена моими странностями, но всегда говорила настоятельнице, что надо стоять на своем— и все пройдет, ибо у лучших монахинь бывают такие минуты: это внушение злого духа, который удавливает свои усилия, когда видит, что добыча от него ускользает; что я избавилась от него, и теперь меня ждут только розы, ибо обязанности монашеской жизни будут переноситься мною тем легче, чем сильнее я преувеличивала их трудность; что тяжесть ярма, которую я внезапно почувствовала, является милостью неба, которое воспользовалось этим средством, чтобы его облегчить... Мне казалось несколько странным, что одна и та же вещь исходит и от Бога и от дьявола, смотря по тому, с какой стороны монахиням вздумается на нее посмотреть. В религии есть много таких несообразностей, и часто, утешая меня, одни говорили, что мои мысли являются наваждением дьявола, а другие— что они внушиены мне Богом. Одно и то же зло исходит либо от Бога, который испытывает нас, либо от дьявола, который нас искушает.

Я вела себя с большой осторожностью и считала, что могу отвечать за себя. Я виделась с отцом — он холодно говорил со мной. Виделась с матерью—она поцеловала меня. Получила поздравительные письма от сестер и от многих других лиц. Мне стало известно, что напутственное слово произнесет некий г-н Сорнен, викарий церкви св. Рожа, а г-н Тьеэри, канцлер университета, примет мой обет. До кануна знаменательного дня все шло хорошо, за исключением одного обстоятельства: я узнала, что церемония будет совершена тайно, что пригласят очень немногих и двери церкви будут открыты только для родственников. Тогда, через привратницу, я пригласила всех своих друзей и подруг, живших по соседству; кроме того, мне разрешили написать кое-кому из знакомых. Вся эта толпа, которой никто не ожидал, не преминула явиться; пришлось впустить ее, и собрание оказалось именно таким, какое было мне нужно для осуществления моего замысла. Ах, сударь, какую ночь я провела накануне этого дня! Я вовсе не ложилась. Я сидела на кровати и призывала на помощь Бога. Я поднимала руки к небу и молила его быть свидетелем совершающегося надо мной насилия. Я представляла себе свою роль у подножия алтаря, представляла себе девушку, громко протестующую против обряда, на который она как будто сама согласилась, скандал среди присутствующих, отчаяние монахинь, гнев родителей. «О Боже, что со мной будет?..» Когда я произнесла мысленно эти слова, силы вдруг оставили меня, и я без сознания упала на подушку. Этот обморок сменился ознобом, у меня дрожали колени, зубы стучали. За ознобом последовал страшный жар, в голове у меня помутилось. Не помню, как я разделась, как вышла из кельи, но меня нашли в одной сорочке распластертой на полу у дверей настоятельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все это я узнала впоследствии. Утром я очнулась в своей келье. Вокруг моей кровати стояли настоятельница, наставница послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была совершенно без сил. Мне задали несколько вопросов, поняли по моим ответам, что я не имею никакого

представления о том, что произошло, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как я себя чувствую, тверда ли я в своем святом решении и ощущаю ли в себе силы перенести волнения этого дня. Я ответила утвердительно, и против всеобщего ожидания обряд не был отменен.

Все было подготовлено еще накануне. Зазвонили колокола, возвещая всему миру, что сейчас появится еще одна несчастная. У меня снова забилось сердце. Пришли одевать меня. Этот день-день облачения. Сейчас, когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что в ней могло быть нечто торжественное и очень трогательное, если бы речь шла о молоденькой и неопытной девушке, не увлекаемой никакими иными склонностями. Меня привели в церковь, отслужили обедню. Добрый викарий, предполагавший во мне смижение, которым я отнюдь не обладала, сказал мне длинную напутственную речь, где не было ни одного слова, которое бы не шло вразрез с истиной. Как нелепо было все, что он говорил о моем счастье, о благодати, о моем мужестве, рвении, усердии и всех тех добрых чувствах, которыми он меня наделял. Противоречие между его похвалами и тем поступком, который я собиралась совершить, смущило меня, и я начала колебаться; но это колебание длилось недолго. Я лишь острее ощутила, что во мне нет тех качеств, какие требовались, чтобы сделаться хорошей монахиней. Наконец страшная минута наступила. Когда надо было стать на то место, где я должна была произнести обет, у меня подкосились ноги. Две товарки взяли меня под руки, голова моя упала на плечо одной из них, я еле передвигала ноги. Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но перед ними была юная умирающая жертва, которую влекли к алтарю; со всех сторон до меня доносились вздохи и рыдания, но среди них не было слышно вздохов и рыданий моих родителей-я твердо уверена в этом. Все встали, некоторые из молодых девушек взобрались на стулья и держались за перекладины решетки. Наступило глубокое молчание, и священник, возглавлявший мое пострижение, сказал:

– Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить правду?

– Обещаю.

– По добной ли воле и желанию находитесь вы здесь?

Я ответила: «Нет», но сопровождавшие меня монахини ответили за меня: «Да».

– Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы Богу обет целомудрия, бедности и послушания?

С секунду я колебалась; священник ждал, и я ответила:

– Нет, сударь. Он повторил:

– Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы Богу обет целомудрия, бедности и послушания? Я ответила более твердым голосом:

– Нет, сударь, нет.

Он остановился и сказал:

– Придите в себя, дитя мое, и слушайте меня внимательно.

– Отец мой, – сказала я ему, – вы спрашиваете, даю ли я Богу обет целомудрия, бедности и послушания. Я хорошо расслышала вас и отвечаю: «Нет».

Затем, повернувшись к присутствующим, среди которых раздался довольно громкий шепот, я знаками показала, что хочу говорить. Шепот прекратился, и я сказала:

– Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка, беру вас всех в свидете-